



## ПОЭТЫ

### Мемуары

Стихи Арсения Александровича Тарковского давно и по-настоящему я любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способствовал моему восстановлению в университете. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публики, он, тем не менее, в нужный момент, для того, чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, – и, благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие людей, – да той же Лидии Борисовны Либединской, по рождению – графини, но ещё и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, – был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «работать с молодыми» – так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагебешники оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе – иначе мало ли чего можно от них ещё ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодёжь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего, надо взять всю пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные секции при союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили

– сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодёжи не подойдёт! Нужны – серьёзные, уважаемые молодёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определённой позицией по отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например – к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодёжь к нему не просто пришла – валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия – вот что было прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было – его, собственное, мнение. Это было – его суждение. Так он считал. Так и говорил.

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили – со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчёркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемые ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, всё твердили, твердили, кто – полушёпотом, кто – нарочито громко, чтобы все вокруг услышали, – что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьёзно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщедрился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне судить. При всём при том был он человеком исключительно благородным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо было, говорил и в открытую собеседнику всё, что о нём думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги.

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное в декабре уже, когда, промёрзнув по дороге в своём демисезонном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский дом неподалёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоём, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно всё, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть всё же схожее в наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные просторы, и хорошо, что я пришёл к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни – это пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть, и он сам непременно поучаствует, поможет, – и некоторым другим, заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они подсобят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное – писать, писать стихи, жить поэзией, – и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале от-кинувшись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперед, и скорбное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное –

порозовело, заиграло огнём, и глаза, печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, и он был весь – ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был – зрение, острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных копья», и копья эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодец у меня на глазах, и степная порода звенела в нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная стать проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, распрямилась, расширились плечи, расправилась, задышала свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он поверил, – и потом я услышал впервые те слова от него, что запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда, – о присутствии тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти – ну хотя бы о том, что судьба моя не из простых, что придётся мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою – и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку весь дар мой – от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.

Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестьдесят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже вовсю живущий поэзией и не мыслящий себя без неё, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от тогдашнего, разнужданного богомного отношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скитаний, я читаю и перечитываю их и теперь, в девяностых годах, потому что без них – нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал там с группой переводчи-

ков, – и это насмерть перепугало начальство, – и писательскую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. А теперь, в девяностых, в Дагестане проходят дни обоих Тарковских – отца и сына. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, – а возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык разъединили их, – текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и, наряду с другими, позднейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, определяющее – совершенно всё, дающее тон всему творчеству – и поведению человека в жизни, то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа – судя по всему, сразу почуял и принял в свою душу он и в моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её несомненное наличие, её воздействие, её свечение – судя по всему, решили всё в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишней раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к нему в гости – или, чего доброго, просить его, как это вовсю делали другие, помочь мне с публикацией моих стихов, да и просто – обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был для меня – вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое моё, независимое, поведение. О моём серьёзнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом, и даже преуспели в этом, – те, другие, из литературной и окололитературной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишней раз передать кому-то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот уж действительно – публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находилась если не в гуще литературной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых молодых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами, сек-

ции. Для этих секций выделили помещения в ЦДЛ – Центральном Доме Литераторов, или гадюшнике, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались – и лезли, лезли, лезли туда, поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там – им светит, там – глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в союз писателей примут, там – будущее для них. Они лезли – и пролезали. Было их как собак нерезаных.

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкурса, как выдающееся молодое дарование, да ещё и смогиста, и при этом некоторые цедеэловские деятели весьма охотно именовали меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих самых секциях всего несколько раз, через силу, потому что уж больно характерной публика там была. От неё так и разило угодливой толпой. Некоторые способные ребятишки там всё же занимались, но уж очень мало их было, да и затёрли их потом, довольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума для официального своего существования, нахальные, беспринципные горлопаны и пронырливые тихони. Грустное было зрелище. Я, как увидел это, сразу всё понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому – чтобы его самого увидеть – пришёл.

Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые окололитературные нахалы, под белы рученьки потащили, ввели в комнату, где все они кучковались, а там – Арсений Александрович. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу всё раздражение слетело. Я буквально ожил.

Поэт. Сидит – один, посреди комнаты, возле стола, на каком-то нелепом, скрипучем стуле. Палка в руках. Негнущаяся нога, вернее – протез, который всегда его смущал, заставлял даже страдать. Другая нога, в тяжёлом ботинке, крепко стоит на полу, упирается в пол, всю тяжесть тела в него вдавливает. Руки. Сухие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Голову то наклоняет немного вперёд, словно набычившись, то легко и молодо откидывает назад, отчего косое крыло зачёсанных вправо, седеющих, но ещё не полностью седых, прямых волос ложится на высокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом ещё движение

головы – и крыло возвращается обратно. Фигура – соединение птицы и всадника. Изломанные, густые, говорящие о породе, брови. Мешки под глазами. Морщины, складки – на ясном лице. Глаза – вовнутрь глядящие, обладающие не только внешним, но и внутренним зрением. Иначе таких стихов не было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подбородок. Изваянная из музыки, из мысли, точёная, очень пропорциональная по отношению к торсу, очень характерная голова. Состояние: грусть.

А вокруг – каре: с четырёх сторон, окружая, взирая, переглядываясь, шушукаясь, пофыркивая, похрюкивая, помалкивая, со своими портфелями, папками со стихами, со своими проблемами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хочу печататься! во что бы то ни стало! любой ценой! – разномастное, разнокалиберное кодрооглоедов, шушера в основном, за редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. Я – тоже в центре комнаты. Стою. Молчу. На меня смотрят – все оглоеды, скопом. Также молчат.

Передо мной – только Тарковский. Видит меня. Светлеет. Опять вижу: происходит в нём преобразование. Всего его существа. Вдохновение в нём, закипающий в жилах огонь. Молодеет. Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. Улыбается – своей улыбкой, таких больше не припомню. Пожимает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк степняка...

И – крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И – глуховатый голос. Искренние слова:

– Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.

Я, тоже искренне:

– Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть вас.

И – сразу, без паузы, в новом порыве, взлёт кисти-крыла:

– Почитайте стихи!

Я, без обиняков, тоже – сразу:

– Вам, Арсений Александрович?

Он – глаза, брови, руки, губы:

– Да!

Надо читать.

Стою посередине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю – и забываю об окружающих нас оглоедах, и опять словно заново

пишу, сызнова переживаю стихи свои, закрыв глаза, голову закинув, – именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в конце мая шестьдесят пятого года и написал, сделал эту акварель свою, первую после перерыва, после сложнейшей глазной операции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал вас – поэтом!» – читаю – как пою, читаю – как летаю, нахожусь, чувствую это, в состоянии транса, вижу то, что читаю – внутренним зрением, слышу – голос, это мой голос, он меня и ведёт, он и звучит, читаю – и, приоткрывая глаза, вижу: Тарковский слушает, и не только слушает, он – всё слышит, слышит – видит, слышит – понимает, ему это – дано, он чувствует – связь, он – на моих частотах, на моей волне, он – единственный здесь, кто – слышит, кто – понимает, а остальные – нет их, остальных, есть – он, Тарковский, и я перед ним – читаю. Пою. Песнь мою он слышит – вот что замечательно. Читаю – не помню уж, сколько времени. Заканчиваю. В комнате – тишина. Потом – гул. Их – не слышу, не вижу. Смотрю на Тарковского. Глаза. Всё ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и притягательной фигурой, и белой вороной. Белой вороной – потому что никогда не смешивался с ними, не являлся, наоборот, сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда самим собой, всюду – сам по себе. Притягательной фигурой был я для них оттого, что молодая слава тащилась за мною сама, где бы я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала мне плечи, как разбухший от влаги, изрядно вымокший под проливным дождём плащ. Но она – была, её наличие было – несомненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствующих субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно посмаковав эту новость в своих рядах, по очереди, один за другим, этак с подъёмом, с пафосом, преподнося это как сенсацию номер один, торопясь преподнести это, как на блюдечке, мне докладывали:

– Арсений Александрович Тарковский давно уже всем говорит, что у Володи Алейникова в стихах – каждая строчка гениальная!

Ну, коли так, то – знал, что говорил.

...Две Натальи – Горбаневская, стихи которой так я любил в молодости, да и теперь, в зрелых летах своих, искренне их люблю, и Светлова, ещё не ставшая Солженицыной, – были в шестидесятых очень со мной дружны.

Обе подруги, Наталья – Горбаневская и Светлова – в меру своих возможностей, по тем временам немалых, всячески, дружно, способствовали росту моей известности.

Они охотно знакомили меня со своими друзьями и просто с людьми хорошими. Встречи, всегда интересные, шли сплошной чередой.

Да и сам я обычно в долгу перед ними не оставался – и знакомил их с теми людьми, которых знал я тогда.

Общение постоянное, которое, как ни пытайся, ничем никогда не заменишь, было в шестидесятых необходимостью жизненной, такой же нужной и важной, как воздух или вода.

Все мы жили – в тоталитарном, как сейчас любят это подчёркивать, всё сойдёт, мол, и всё сгодится, и зачем церемониться с этим, если ясно и так, что к чему, и зачем, и почём, – государстве.

Да, так. Но внутри вот этого пресловутого, распроклятого тоталитаризма – кипела полноценная, светлая жизнь.

Это была другая, вовсе не государственная, подспудная, не испоганенная казёнщиной, официальнойщиной, если хотите – свободная, так я считаю, жизнь.

Наша жизнь – вопреки бесчасью.

Победившая зло, по счастью.

Наша собственная, родная, дорогая навеки – жизнь.

В ней, полнокровной, подлинной, насыщенной до предела событиями различными, нашей, творческой, жизни, литература была – нашей, искусство – нашим.

Теми, которые мы сами – тогда – создавали.

Такими, какими их мы сами – всегда – создавали.

Со всеми их, оптом, достоинствами и, бывало и так, недостатками.

С их открытиями и прозрениями.

С их судьбою, общей, для всех.

И с их судьбами, разветвлёнными, но зато – от единого, общего, в почву выросшего, к небу вознёсшего стебель свой и цветы свои, корня.

В годы прежние наше общение было в чём-то сродни причащению.

Или, может быть, даже крещению.

Потом уже было – прощание.

И – для всех ли, не знаю, – прощение.

У меня вот сейчас – возвращение.

Неизбежное. Вроде бы – вспять.

А на самом-то деле – как знать?

Завиток спирали опять повернётся – и, может, окажешься не в былом, а в грядущем. Всё ведь может быть у нас. И бывает, мне поверьте. Не столь уж и редко.

На опыте собственном знаю: бывает. С одним лишь условием: если всё, чем ты жив, – от Бога.

Если судьба твоя, горькая, пусть и так, но зато и прекрасная, горним пронизана светом.

Подруги мои, Наталья, Горбаневская и Светлова, решили меня познакомить с интереснейшим человеком, легендарным поэтом, Аркадием Акимовичем Штейнбергом.

В те годы он, бывший зэк, переводчик серьёзный, известный, но в отечестве не издаваемый долго, многие годы, поэт, а ещё и отличный художник, а ещё и впрямь колоритнейший человек, уникальный, личность, ничего тут не возразишь, человек, в поступках своих, в особенностях мышления, в самом своём образе жизни, смело скажу – очень крупный, подчёркнуто независимый, от писательского начальства и от властей, всегда, где бы ни жил он, в любых, даже самых сложных условиях, возвышающийся над бытом, преображающий всё разом вокруг себя, создающий, день ото дня, годами, десятилетиями, свой собственный мир, наполняющий вокруг себя всё абсолютно, да ещё и пространство, и время, дорогое, земное, – творчеством, изобретатель, по Хлебникову, творец, фантазёр, аналитик, реалист трезвейший, и всё-таки неисправимый мечтатель, человек созидающий, светлый, живущий здесь, в настоящем, но глядящий уже и в грядущее, и шагающий в это грядущее то с усилием, трудно, медленно, а то и стремительно, словно шагами и впрямь семимильными, это уж как получалось, как складывалось по судьбе, и вовсе не от него зачастую это зависело, человек закалённый, привыкший упрямо преодолевать непрерывные, вечные трудности, которых было с избытком на пути его, куда больше, нежели у других, по природе своей – боец, стремящийся побеждать, крепкий, твёрдый мужик с огромным, уникальным жизненным опытом, да к тому же ещё наделённый магнетическим обаянием, неотразимо действующим на

сердца нежнейшие женские, да к тому же ещё и знающий цену дружбе мужской и притягивающий к себе настоящих друзей, вообще – хороших, достойных, интересных, ярких людей, создающий – свой круг, живущий широко, но не на поверхности пресловутой официальной, а внутри своего круга, своего, хранимого бережно, дорогого, личного, собственного, благодатного, щедрого мира, человек – легенда, и – притча, был он в должной мере когда-то несомненным олицетворением вольнолюбия, свободомыслия, человеческого бесстрашия и служения правде, везде и во всём, неизменной верности призванию своему, был порядочен, артистичен, прям, открыт молодым, благороден, чист душою, сердцем широк, был отзывчив, поэзию знал – как немногие, весь был в искусстве, – все любили его – и, любя, уважая его, восхищаясь им, поражаясь его выживаемости, нет, живучести, полнокровию, воле, мужеству, крепости, стойкости, меж своих называли – Акимыч.

Я давно уже знал о нём. Только встретиться с ним – не пришлось ещё.

Мог бы, наверное, сам проявить, как делали некоторые знакомые, инициативу.

Но срабатывало – моё вечное и совершенно правильное нежелание – людям навязываться. Не в моих это было правилах.

Я считал – и считаю доселе – что всё должно происходить само собою, всё складываться должно лишь естественным образом.

Иначе в том, что с тобою происходит, в разумном течении и в естественном, закономерном, без излишеств, чередовании всех событий и разных встреч, в особенном, органичном звучании полифоничной, достаточно сложной музыки человеческой, личной судьбы, – так я скажу об этом, – возникают, как из-под земли появляются элементы досадной мирской торопливости, намеренных корректив, чуть ли не нарочитости, словно этикие, на поверку псевдовольные, условные, незнамо зачем какими-то подозрительно скучными, вымученными, совершенно неубедительными, налипающими слоями рябящих в глазах и, хоть тресни, вовсе не запоминающихся, ненужных, лишних, невзрачных, пустых, чужеродных ноток вписанные поверх уже на месте имеющих, на нотном стане записанных, необходимых знаков, образующих – только верное звучание, образующих – неизменно единое целое, – и прочие, диссонирующие, дающие сбои в

гармонии, вызывающие досаду, а нередко и возмущение, фигуристые штуковины, которые лучше всего просто не допускать к себе, в своё бытие.

Судьба сама разберётся во всём, раз уж ты поэт, и что-то, глядишь, отодвинет от тебя подальше, поскольку так надо, хотя бы на время, а что-то придвинет к тебе, откроет его тебе вовремя, именно в нужный день, в нужный час, тогда, когда надо, не раньше, но и не позже, не больше, но и не меньше.

Судьба – это путь к совершенству, это ведь тоже борьба, гармонии – с дисгармонией, полифонии – с противной примитивичной легковесной, поверхностной голосовой, зачем-то затверженной партии и простенького, как шорох бумаги, сопровождения, в три аккорда, аккомпанемента.

Судьба – это та, магическая, серебряная труба, из феллиниевской «Дороги», та самая, вещая, вечная, которую вновь и вновь подносит к сжатым губам Джельсомина – Джульетта Мазина, чтобы услышать – зов, дабы почуять – путь.

Судьба – это прядь со лба, в молодости – рыжеватая, упругая, чуть волнистая, в зрелости – сохранившая упрямство своё, но уже сединою снежной затронутая, ковыльная, серебристая, – и здесь, ввечеру, в Киммерии, где стоишь на ветру, сощуришь, и вглядываешься в пространство, путешествуя сквозь времена, взлетающая, незаметно и неизменно, поскольку так надо, в звёздное небо, туда, где совсем высоко, и так далеко, и вроде бы рядом, близко, протянут в безграничном, извечном, седом наваждении мироздания, во вселенском дивном видении, в ожидании чуда, наискось и вдоль, назад и вперёд, расплётнут влево и вправо, и в глубь, совсем не колодезную, не речную и не морскую, но – ту, что свыше, ту самую, ту, что есть искони – высь и весть, и натянут, настроен свыше мириадами чутких струн, и незримых нитей, и связей, неустанно звучащих, поющих, и вытянут, весь, устремлён, как бессчётные взгляды, людские ли, ангельские ли, любые, из былого в грядущее, сквозь настоящее, в доли секунды уже былым становящееся, мерцающий вечным светом, наполненный силой нетленной, всей мощью и радостью мира, с его чередой превращений, сцеплениями, узлами, на память ли, для надёжности ли, скрепляющими, связующими всё ра-

зом в единое целое, в живую всеобщую ткань, в сплошное, во веки веков, единство и таинство, праздноство, творчество, действие, сияющий, плещущий кровью живою, и явью, и правью, торжественный в великолепии своём и прекрасный в своей золотой простоте, Млечный Путь – или, как говорят в наших древних степях, и по всем побережьям исконных морей наших, да и по всем берегам наших рек, отражающих в водах своих наши лица и светлое, неизъяснимо родное лицо всей истории нашей древнейшей, Чумацкий Шлях, – и на этом пути ты волен быть самим собою – всегда.

И судьбе твоей нет предела на вселенском вечном пути – ведь живую душу вселяет неустанно, светло и осознанно в животворных трудах своих, созидательных и целительных, и спасительных для бытия, где любовь расцвела твоя, в мирозданье живое Господь, и по воле Творца мы живы, и подержаны, певчие, творчеством, и ведомы – звучащим словом, и хранимы – небесным светом, и едины – вселенским родством.

Надо сказать, что Штейнберг тоже знал обо мне.

От друга своей довоенной молодости, Арсения Тарковского, человека, державшегося в стороне от литературной жизни, независимого в суждениях, сдержанного в общении с поэтами молодыми, чутьём отменным, вернейшим, на поэзию, наделённого, скупого на похвалы, внимательного и отзывчивого отшельника благородного, почти земляка моего, с которым был я знаком и который, как все уже знали в Москве, стихи мои ранние всегда высоко ценил.

От бесчисленных общих знакомых, разносивших в ту давнюю пору молву обо мне по Москве, да и не только по ней.

От самых разных людей, литераторов или художников, музыкантов или же просто любителей и ценителей всего, что в нашей кипучей, подпольной, неофициальной среде отличалось от прочего богемного пёстрого творчества, выделялось, своей непохожестью на другое, и новизной.

И так далее. Вестников было в годы прежние – хоть отбавляй.

Да к тому же ещё и громкая, взбудоражившая не только Москву, но и всю страну, а впридачу и за границу, история с нашумевшим неслыханным образом СМОГОм возымела, конечно же, действие.

Уж о смогистах-то – все поголовно, в те годы, знали.

Ну а кто – говорю для историков новейшей литературы, дабы их просветить, куда есть у них возможность спросить у меня о том, что действительно было в эпоху минувшую, – главными смогистами? Мы с Губановым. СМОГ – это я и Губанов. А все остальные – потом.

Знать-то Штейнберг знал обо мне, но, думаю, как и я сам, тоже хотел, чтобы всё сложилось разумно и просто, как-то само собою.

Это предположение моё оказалось верным.

Позже Аркадий Акимович мне об этом так и сказал.

Словом, обе подруги, Натальи, Горбаневская и Светлова, да ещё и Ляля Островская, объединившись, твёрдо решили нас познакомиться.

Было это весною, всё в том же, обильном на встречи и дружбы, возникавшие, вслед за встречами, иногда, шестьдесят шестом.

Встречу назначили там, где лучше всего, – у Ляли, всё там же, в её деревянном старом доме-скворешнике, где любили мы все тогда вечерами порой собираться.

Почему? Потому что Ляля была бесконечно добра и неизменно приветлива с нами, своими гостями.

Потому что в её обиталище было всем хорошо. Атмосфера была там особая. Аура, как обычно теперь говорят.

И ещё потому, что сердечным теплом и душевным светом наделена была сама хозяйка, худющая, симпатичная, рыжая Ляля, настолько щедро, действительно, что хватало его, полагаю, на добрую половину тогдашней московской богемы, а уж для хороших, избранных, любимых друзей – и по-давно.

Потому что не где-нибудь, а именно здесь, у Ляли, предложили прекрасные дамы нам увидиться и познакомиться, наконец, Аркадий Акимович согласился весьма охотно.

Здесь, у неё, – всем было радостно и спокойно.

Здесь – все чувствовали себя уверенно и свободно.

Здесь, наконец, с гарантией, все были – только свои.

По той же причине, уже уставший тогда от всех этих обязательных, ритуальных, непрерывных чтений стихов, сознательно

избегавший неприятного для меня, опасного общества некоторых, и даже многих, смогистов, и особенно тех, которые почему-то себя таковыми считали и шумно трезвонили от этого на всех углах, а на деле-то ровным счётом никакого к содружеству нашему отношения не имели, сторонившийся, всё решительнее, всяческой псевдобогемной, расхристанной суеты, всё более уходящий в творчество, постоянно пишущий новые книги стихов, одну за другой, то есть, по существу, непрерывно, серьёзно работающий, несмотря на то, что, по странной для меня, нелепой инерции, продолжал я всё ж обрастать легендами разнообразными и домыслами, в которых было вдосталь всяческой путаницы, а уж слухов невероятных обо мне, как об этом гении молодом, с поведением, ясно, соответствующим, и сопутствующими приключениями, расплзлось тогда, ходило, разлеталось, дробясь и множась без конца, несусветное множество, и всё это оптом, тогда уже, просто страшно мне надоело, хотя понимал я, конечно: что делать, это – Москва, хлебом её не корми, только дай подольше посплетничать, вволю повосторгаться, избрать для себя, пускай и на время, кумира, героя, – так вот, всё по той же причине, что на вечер у Ляли Островской соберутся только свои, повидаться со Штейнбергом сразу же согласился, конечно, и я.

О чём и было ему напрямую вскорости сказано.

И что ему, из-за нежданного совпадения наших линий поведения и тогдашних твёрдых позиций жизненных, заранее, до знакомства нашего, очень понравилось.

О чём, понятное дело, сказано было и мне.

Таковы были прежние нравы и привычки прежние наши – ничего от друзей хороших в нашем славном кругу не скрывать.

Встреча была назначена – и вот она состоялась.

Мы – Штейнберг, почётный, серьёзный гость, три Натальи и я – собрались вечером у Ляли.

Произошло знакомство.

И так всё естественно получилось, что показалось мне, будто знаком я с Аркадием Акимовичем давным-давно.

Мне полагалось – читать стихи.

Для того, собственно, и собрались.

Штейнберг очень хотел меня послушать.

Мы все сидели за столом, в комнате, той, что побольше.

На столе, по традиции, – несколько бутылочек сухого вина, приготовленная Лялей лёгкая закуска.

На одном торце стола – восседал колоритнейший, ведь и не крупный вовсе, а просто – крепкий, жилистый, но производивший монументальное впечатление Аркадий Акимович.

На другом торце стола – сидел я.

По бокам – расположились дамы.

Начали мы с того, что немного выпили. Причём Акимыч и выпивал-то не банально, а по-особенному, очень по-своему, радостно, артистично, красиво.

Появилось у всех и настроение – слушать стихи.

Пришлось мне читать.

Я читал, как и почти всегда в те годы, не заглядывая в тексты, читал – что в голову придёт, совершенно переключившись на звучащую речь, прикрыв глаза и заново каждый раз переживая, будто сызнава его, прямо сейчас, по ходу чтения, сочиняя, каждое стихотворение, разволновавшись, настроившись на звук, незаметно войдя в состояние своеобразного транса, поющего, ритмически насыщенного, завораживающего и подчиняющего себе, всей этой непостижимым образом изливавшейся когда-то из меня, изнутри, из души, из сердца, свободной, светящейся музыке, воспроизвести которую, наверное, уже невозможно, во всяком случае – сложно, вовлекающее в это поющее, шепчущее, бормочущее, кличущее действие, тут же, на месте, мною создаваемое – непонятно как, по чутью, по наитию, на одном бесконечно долгом, широком, глубоком дыхании, – всех окружающих.

Я читал – не помню уж, сколько времени, да и неважно это, но читал, наверное, довольно долго, покуда, выплеснув из себя эту музыку, измученный неминуемым напряжением, внутренним своим сосредоточением, не перестал вдруг читать и не открыл, словно пробудившись, глаза.

Я запомнил невероятную, удивившую меня тишину, стоявшую в комнате.

И запомнил ещё – зрительно ощущаемое, потому что сам я это увидел, – присутствие здесь, в сжатом четырьмя стенами пространстве, клубящихся, свивающихся, светящихся, постепенно успокаивающихся и становящихся всё прозрачнее, всё невесомее, призрачнее, а потом и вовсе редящихся, сквозящих, лишь чуть искрящихся, потрескивающих, будто бы разрядами электриче-



ского тока, видений, очертаний, форм, ступок, слоёв, нитей этой странной, живой ткани, этого созданного мною на протяжении чтения особого поля, – моей звучащей, вот таким образом, выходит, материализовавшейся речи, – уж не знаю, как и выразиться поточнее.

Но я это – сам видел. Да и не только я.

Все молчали. Пока что – молчали.

Я присел на скрипнувший стул, выпил глоток вина, закурил.

И тогда Аркадий Акимович, несколько изумлённо глядя на меня из-под очков невероятно широко раскрытыми глазами, заговорил.

– Да, – сказал он, одним глотком опорожнив хлюпнувший стакан вина, тут же закулив и окружив себя клубами дыма. – Да, – сказал он, всё более пристально глядя на меня, – почему мы, все мы, не умеем говорить так, как говорят растения, животные, птицы, рыбы, вообще – всё живое, вся природа? А вот Володя Алейников, – он, обращаясь к дамам, вытянул обе руки, ладонями вверх, и простёр их ко мне, – а вот Володя – умеет так говорить! Он этот язык – знает! Боже ж ты мой! – покачал он из стороны в сторону взлохмаченной головой, – он знает язык природы! Язык естества! – Акимыч выпрямился, поднял вверх обе руки и торжественно, патетически, воскликнул: – Он знает язык бытия!

Дамы внимали Штейнбергу.

Он обратился уже ко мне:

– Володя! Как это? Как это может быть? Получается – это бывает. Это – возможно. Я только что, сам, здесь, лично, я, поверьте, кое-что знающий в жизни, слышал от вас – речь сущего! Вы умеете выразить – единство всего сущего! Вы умеете – самое главное.

Он смотрел на меня в упор – и видно было, что он волнуется.

Слова его поразили меня абсолютно точной формулировкой того, что старался я, в меру сил своих и возможностей, делать в поэзии.

Слова эти – я запомнил.

Они предельно выразительны.

Лучше не скажешь.

Вот оно, знаменитое Акимычево чутьё на поэзию.

Конечно, для меня было более чем важно – такое услышать.

Однако молодость, да и смущение, стеснительность, в те годы сказывавшиеся постоянно и теперь никуда от меня не ушедшие, потому что это свойства характера, да ещё и вечное, сознательное моё нежелание носиться с собой, как с писаной торбой, и вдобавок чтобы ещё и другие носились, и стремление моё не больно-то поддаваться на похвалы, и многое другое, говорящее, полагаю, об отсутствии во мне заносчивости и эгоизма, говорящее также о присутствии здравого смысла, о том, что никогда я не терял голову, что бы обо мне ни говорили, как бы меня ни хвалили, поскольку это – не моё, главное для меня – работа, созидание, творчество, а говорят хорошо – значит, считают так, а мне надо просто работать, и потом, когда-нибудь, всё равно разберутся с моими писаниями, а теперь надо просто жить и работать, вот и всё, вечная моя присказка, – молодость, повторяю, и смущение, и, конечно же, здравый смысл брали своё, – и я, выслушав Штейнберга и запомнив его слова, постарался как-то исподволь снять общее возбуждение, общее волнение.

Мы заговорили о простом, о житейском.

Впечатление от чтения долго ещё, конечно, держалось, – это видно было по лицам.

Но такое – тогда – было закономерно.

Дамы, слышавшие меня много раз, прекрасно знали об этом.

Оставалось только принимать это как должное.

Ну что ж со мною поделаться?

Так – пишу стихи. Так – читаю стихи.

Уж такой, какой есть. Алейников.

И всё этим сказано.

Славный получился вечер.

И хорошо мы поговорили с Акимычем.

Я видел, что он испытал сильнейшее потрясение.

Но он и сам был поэт. Отличный поэт.

И я постарался сказать ему хорошие слова о его стихах.

О каких? Да о той же, единственной из напечатанного, поэме Штейнберга – в «Тарусских страницах», знаменитом альманахе, изданном в Калуге с помощью Паустовского.

Я постарался найти точные слова – о высочайшем его реализме.

Об умении выразить – явь.

О поразительной собранности, дисциплине его поэзии.

О верности слову.

О присутствии духа в строгих, внешне сдержанных, но полных энергии строках.

О голосе его – всегда различимом, для меня, среди голосов других поэтов.

О честности перед поэзией.

О воинском прямо чувстве ответственности за каждое написанное слово.

О верно взятом и безукоризненно точно выдержанном тоне.

О том, что, казалось бы, полярная, поэзия Штейнберга – близка мне.

Неистойвой человечностью, которая есть в ней.

Душой, раскрывающейся тому, кто – поймёт.

И, конечно, – жизненной, созидательной силой, огромной, которая, выжив, уцелев посреди испытаний, рождает речь и надолго останется – сквозь времена.

Он слушал меня.

И я увидел просиявшую радость в его глазах – оттого, что и я его понимаю.

В последующие годы мы, бывало, делились с Аркадием Акимовичем.

Не единожды разговаривали. И на людях, и с глазу на глаз.

Говорил Аркадий Акимович иногда:

– Поэзия русская – это такая армия, где взводами генералы командуют.

Он был – прав.

Общаться со Штейнбергом было всегда интересно.

И полезно. И важно.

Здравый человек. Щедрый. Сильный.

И к тому же – такой талантливый.

Жизнелюбец. Воитель духа.

Помню, году в семьдесят четвёртом, когда он завёл себе избу в деревне, когда была у него совсем ещё молодая, много младше его, красивая и всё понимающая жена, когда всю шла его переводческая работа, рассказывал он:

– Побываю в Москве – и не то. Ну всё здесь не то. Сразу тянет к себе, в деревню. Наберу провизии, тащу на себе. С электрички сойду на своей станции, – а там дождь хлещет. И ничего. Подумаешь, дождь! Провизию – на тачку загрузу. Ботинки сниму.

Штаны закатаю – и вперёд, босиком, по дождю, по грязи, по холоду, – к дому. Толкаю тачку с поклажей. Шлёпаю по лужам, по колёно в воде, – и даже не чувствую, даже думать не хочу о том, что вода ледяная, что осень, холодрыга стоит. Мне так идти – интересно, весело! Доберусь домой, растоплю печку, хлопну чекушку водки – и всё, хоть бы хны. Никаких болезней. Здоров. У меня в деревне – красота! Приволье. Полная свобода. А ещё и река. И лодка есть. И дом. Все поместимся. Приезжайте ко мне, Володя!..

Не приехал. Не довелось.

Так уж вышло. Что делать!

Непростыми, увы, оказались мои семидесятые годы.

Когда бы я ни виделся в Москве со Штейнбергом, всегда в его глазах видел я память о том, самом первом вечере, у Ляли, первом и самом важном для обоих нас – так я это понимаю.

Тогда мы сказали друг другу – главное.

А всё остальное – уж как-то приложится, образуется, – тоже само собою.

Всё остальное – давно приложилось, образовалось.

И если что-то и вспомнится, то тяготеет, пусть и яркое, интересное, – к той, самой первой встрече, с её откровениями, в доме у рыжей Ляли, на Трифоновской, где, рассыпая в вечернем, прохладном, но не зябком, стусившемся в плотную полусферу столичном воздухе свои синие, словно с окалиной, трескучие, мелкими брызгами разлетающиеся искры, звенели на ровном отрезке пути и скрежетали тормозами на поворотах красные трамваи, где волшебный, нарисованный Сашей Харитоновым зверок создавал для гостей и хозяйки уют и покой, а по всей полудремлющей, полубодряющей округе, деревянной и каменной, травянистой, дворовой, песчаной, привокзальной, асфальтовой, на деревьях всю распускались пахучие, клейкие почки, и бесшумно ходила вблизи, иногда и взлетая, как тихая птица ночная, поодаль, улыбаясь блаженно, светло и загадочно, чуть отрешённо, быть может, но всё же по-дружески, всё же по-свойски, весна...